

ЗИНАИДА ГИППИУС

ВАНЯ ПУГАЧЁВ И ВАНЯ
РУМЯНЦЕВ

Зинаида Николаевна Гиппиус

Ваня Пугачёв и Ваня Румянцев

Аннотация

«Оба они – настоящие люди, и фамилии их тоже невыдуманные. Фамилии знаменитые, но сами они совсем не знамениты; зато, может быть, характерны.

Ваня Пугачев – сирота, прачкин племянник. Что с ним тетка делала, выписав мальчишкой из деревни, отдавала ли в какое ученье, – неизвестно. Увидели мы Ваню перед войной уже взрослым парнем в Петербурге, с теткой-прачкой: ей покровительствовала наша старая няня, ну, и племяннику тоже. Летом ехала тетка с нами на дачу, ехал и Ваня, помогать «вообще». Тетка ничего от него, кажется, не требовала: «Ему на призыв скоро, пусть погуляет»...»

Зинаида Гиппиус

Ваня Пугачев и Ваня Румянцев

Сыны народа. – Любовь и патриотизм. – В русской северной деревне. – Два матроса: поэт и «революционер». – Листья, бурей гонимые

Оба они – настоящие люди, и фамилии их тоже невыдуманные. Фамилии знаменитые, но сами они совсем не знамениты; зато, может быть, характерны.

Ваня Пугачев – сирота, прачкин племянник. Что с ним тетка делала, выписав мальчишкой из деревни, отдавала ли в какое ученье, – неизвестно. Увидели мы Ваню перед войной уже взрослым парнем в Петербурге, с теткой-прачкой: ей покровительствовала наша старая няня, ну, и племяннику тоже. Летом ехала тетка с нами на дачу, ехал и Ваня, помогать «вообще». Тетка ничего от него, кажется, не требовала: «Ему на призыв скоро, пусть погуляет».

Парень был громадный, широкоплечий, с лица рябой, впрочем, не без приятности, и довольно ловкий. Ловкий – и мешковатый: как будто и хитрый, – как будто и тупой.

В последнее лето произошло с Ваней смешное приключение: он влюбился. Влюбился непохоже на себя, – грустно, глупо и безнадежно, потому что влюбился – во францужен-

ку.

Большой каменный дом в именье северо-западной полосы России, где жили в то лето две семьи, был населен и немалым количеством женской прислуги. Одна из горничных оказалась привезенной для чего-то из Парижа: молоденькая, черноглазая, с недурным, немножко надутым, личиком, – Мари-Луиз. С десяти лет бегавшая по парижским улицам из материнского прачечного заведения «по клиентам», случайно попавшая затем в русскую семью, которая «на год» взяла ее в Петербург, – можно представить себе, как была она некстати среди всех Тань и Маш, в русской деревне, около старой няньки, Ваниной тетушки, да и самого Вани. Не то, чтоб была она умнее или культурнее Тань и Маш: нет, несколько, а Тани и Маши, пожалуй, лишь добрее и проще; но была вся, до последнего движения, – другая. Оттого Ваня, должно быть, и влюбился. Мари, для него, – таинственность: таинственная и речь ее, которой он не понимал. Кроме того, она важничала: по неприятной своей натуре, она даже особенно важничала. Заметив Ванино обожание, она, по-своему, однако, с ним кокетничала; даже вечерние свидания в парке ему назначала; но прихватывая с собой которую-нибудь из Тань. Ване оставалось только безмолвно млеть, или, подыгрывая себе на гитаре, тихонько напевать единственную чувствительную песенку, которую знал «Пускай могила меня накажет...». Даже пламенно восторженные взгляды были ни к чему: на условленной скамейке, под ветвями, вечером

особенно темно.

А к тому времени, когда Мари переняла несколько русских слов, и Ваня, приобретя французские вокабулы, затвердил две-три необходимые фразы, любовь его обернулась трагически: он оказался вмешанным в яростную борьбу на почве патриотизма. Тетка-прачка, нянька, а за ними и Тани с Машами, доказывали Мари преимущества России; Мари же фыркала на все русское, потому что Франция (Париж, другой Францией она не знала) выше всякой России, никуда перед ней негодной. Ни один обед не проходил без спора, самого ожесточенного; как-то ухитрились понимать друг друга; притом часто, после криков, дело доходило до драки, а это уж всем понятно.

Ваня бессильно пытался стать на сторону Мари; но Мари этих робких попыток не ценила, да и не воспринимала, смешивая его с «врагами». Только тетка-прачка яростно накидывалась на Ваню за эту защиту.

Вечером, в саду, Ваня напрасно объяснял Мари свою горькую долю. Как-то, чтоб разжалобить ее, сказал, что вот, мол, судьба его: должен идти в солдаты... Но Мари и тут нашла повод для презрения: во Франции считают за счастье и честь быть солдатом, служить отечеству.

Ваня, на этот раз, не сдался. До полуночи пыхтел над вокабулами и утром прочел Мари, русскими буквами написанное: он решил поступить во флот, чтобы при дальнейшем плаваннии попасть во Францию и увидеться там с «бьенеме». Мари

пожала плечами, но удостоила улыбнуться.

Каждую неделю, в обширных помещениях внизу, затевались балы: из соседних деревень являлись парни-гармонисты, девушки, и танцы шли за полночь. Мари не принимала в них участия: сидела на высоком деревянном катке (прачешная, как самая просторная, была бальной залой) и с презрительной миной глядела на танцующих: ей ли, парижанке, плясать с русскими мужиками!

Между тем, деревенский и сельский люд в этих местах сильно отличался от населения средней России. Отличался к своей выгоде. Насколько можно было видеть, все они, – средние мужики, парни, девушки, – жили не то что культурнее, но как-то обрядливее: жили «с понятием», не в пример местам Новгородской, хотя бы, губернии. Однажды сельский выборной позвал нас на праздник пожарной команды. Кто-то из привыкших к «праздникам» этой самой Новгородской губернии, сказал: «Да ведь у вас там пьянство пойдет...». Мужик только усмехнулся: «А вот, пожалуйста». И когда, уже после пира в каком-то длинном бараке или сарае, приглашенные шли смотреть игры и хороводы на специальной лужайке, этот выборной с торжеством спросил: «Ну, где же это пьянство, которого вы так страстно боялись?».

В некоторых отношениях северные деревни эти казались, – как ни странно, – и более русскими, чем в средней полосе России. Женщины и девушки лишь изредка, в праздник, надевали городское платье, а обычно ходили в сарафа-

нах; никто не визжал частушек, пелись славные старые песни. Когда шли с поля или с покоса, просто любо смотреть, как, своими же песнями увлекшись, оне весело приплясывали. Иной раз даже странно: будто на картинке – «счастливые поселяне». Парни, приходившие танцевать с нашими Танями, не только были грамотные, но и «разговор понимающие»; перед многими «петербургский» Ваня казался обломом.

Впрочем, казался он таким и перед своим приятелем, Ваней Румянцевым, – в те годы, накануне войны. Приятельство двух Вань было не тесное: понятно, уж очень они друг на дружку не походили.

Ваня Румянцев на северной даче не жил: он был сын извозчика на Сиверской. В дачное время и сам уж ездил. Там они с нашим Ваней Пугачевым и подружились. А когда обоим вышли года и вместе их взяли на службу, Ваня Румянцев появился у нас и в Петербурге.

Весь запас «поэзии», имевшийся у Вани Пугачева, был истрачен на историю с Мари. Собственно истории даже не было, а так что-то, что Ваня начисто и забыл, едва Мари исчезла. Но Ваня Румянцев был настоящий поэт. Не поэт, пишущий стихи, конечно, но было в нем какое-то нежно задумчивое, жертвенное томленье, словами не выражающееся и для него невыразимое: слова его были самые обыкновенные, и говорил он о самых обычных вещах. Небольшого роста, щуплый, светловолосый, скромный и тихий, он в старой ня-

не возбуждал материнскую жалостливость, хотя жалеть его – за что? Здоров и как будто доволен. Разбитным Дуням и Машам он очень нравился; заигрываний их не чуждался, но сам был, кажется, равнодушен.

Ваня Пугачев, попав на службу, быстро стал «развиваться»: появилась уверенность в движениях, военная развязность и, необычные для него, длинные, громкие (и глуповатые) рассуждения. Ваня Румянцев остался тем же, так же говорил скромно, так же таскал в кармане какую-нибудь потрепанную книжицу: песенник, роман, что придется.

Оба попали во флот. Ваня Пугачев, за рост, верно, даже на императорскую яхту. Сразу началась война – оба они фронта и не попробовали, остались в Кронштадте.

Ваня Пугачев своим положением на императорской яхте очень гордился; пространно рассуждал о войне и выражал самые верноподданнические чувства. Яхта, впрочем, стояла праздно; да и обоим Ваням не много было дела в Кронштадте, по всем видимостям: Румянцев, как и Пугачев, то и дело появлялись у нас на кухне, в Петербурге. Только Румянцев о войне и патриотизме говорил мало; часто вздыхал; жизнь свою, впрочем, хвалил: начальники, хорошие, ничего.

Но вот и морозно-яркие, снежные дни мартовской революции.

Известно, что Петербург тогда сразу наполнился героями, которые с совершенной уверенностью героями себя и считали (отчасти, может быть, по праву). Наш собственный герой,

Ваня Пугачев, объявился в первые же дни, даже в первые часы. Начал, положим, с видимых невероятностей, с восторженного привиранья: как он только что участвовал в освобождении из крепости Хрусталева-Носаря, который «десять лет там страдал за народ» (и которого тогда в Петербурге даже и не было). Как потом поехал он, Ваня, с этим Носарем поджигать Окружный Суд, а оттуда в Думу, где Носарю «сейчас предложили какую хочет должность занять...».

Но, с течением дней, Ваня, выбранный в первый «Совет депутатов» и заседавший в Таврическом дворце «перманентно», делался все солиднее и важнее. При всяком перерыве он являлся к нам подкрепить силы и обстоятельно «разъяснить положение» толпившейся вокруг него, домашней демократии, – женского, больше, состава. Слушали его восторженно. Все принимали. Когда Ваня авторитетно подтвердил, что вместе с царем свергли и «попов» – дворничиха радостно вскрикнула: «Это так! Сама видела! Несут – „долой монахию“ написано. Всех, значит, монахов по шапке!».

– Не мужественно Николай себя вел, – рассуждал Ваня. – Ну, мы терпели, как крепостные. Довольно. А только не всем народ доверился... Другим товарищам – этим народ верит, как они ни в чем не замечены...

Ваня Румянцев тоже бывал в Думе, но к нам приходил реже. Улыбался, ни о чем особенно не рассказывал, и в улыбке было что-то беспокойное. Он точно силился что-то понять и чуял внутренним чутьем, что все равно не поймет. Ваня

Пугачев, в упоении своего величия, называл его «тюрей».

Раз пришли они поздно вечером вместе, из Таврического дворца. Ваня Пугачев захлебывался от всего, что сейчас же хотел сообщить. Как же! Приказ № 1 обсуждали!

– Это тонко надо понимать. Обезоруживайте офицеров. Ну, мы тонко поняли. Лейтенант Кузьмин расплакался даже...

– Напрасно ты говоришь, – тонко, – сказал Ваня Румянцев. – Знаю я. Вот есть у нас капитан II-го ранга... отец родной. Что ж, так сряду и готово дело?

– Зачем! А только так оставлять – тоже нельзя. Мы много сделали. Крови мало пролито. Во Франции сколько крови пролили...

Началось у них что-то вроде спора, хотя нельзя было понять о чем, да и сами они, кажется, не знали, – так некстати говорил каждый какие-то неидущие слова. Но оба горячились, особенно Ваня Пугачев, переполненный неведомыми восторженными чувствами.

Прошло какое-то время, – среди событий его не заметишь: может быть, неделя, может быть, три дня.

– Ваня-то... Румянцев, – прошептала нянька, входя, и перекрестилась. – Убили. На судне на его. Много там набили. Ванька-то рассказывает...

Ваня Пугачев действительно рассказывал, несколько мрачно, но с достоинством, что случилось это «на ихнем крейсере», и по всей видимости, – говорят товарищи, – зря

Ванька попал: офицерское разоружение, а он, ни сговорившись, ничего, за этого ихнего капитана один стал; ну, понятно, видя такое сопротивление революционному народу, его и прикончили.

Рассказ Ваня вел смутно и путано, с чужих, видно, слов. Но больше мы ничего не узнали.

А вскоре скрылся, как в воду канул, и Ваня Пугачев. О нем, впрочем, и нянька не беспокоилась: этот не пропадет. Кто-то говорил, что видел его гарцующим на коне, во время июльского восстания: защищал будто Временное Правительство.

Он появился только один раз еще, в 19-м году. Появился – кем, большевиком? В том-то и дело, что неизвестно кем. Нянька привела его в холодную столовую, где мы пили чай, – или что-то вроде чая, – с картофельными лепешками. Пока он угощался, все глядели на него: да Ваня ли это? В пиджаке, рябое лицо бледно и нагло, весь он дергается, не то от самогона, не то от кокаина, пожалуй, – и говорит, говорит... С прежней, или пущей, самоуверенностью, с бесконечными мутными выкрутасами. О чем он рассказывал? Для чего? Где он был? Куда направляется? Чего хочет? И кто он сейчас, – мешочник? спекулянт? Может быть, уже и большевик? Все это осталось тайной. Прежде, в его многословных рассуждениях, пусть нахватанных, отражалось что-то вроде его отношения к жизни. А тут – просто одурение, просто каша. И во все не худой человек какой-нибудь перед нами сидел: только

лист, в бурю попавший и бурей гонимый.

Если такой Ваня, – а сколько их было? – оказался со временем в большевиках, даже в чекистах, – у кого хватит духу винить и обвинить его?